

РАССКАЗЫ
СОВЕТСКИХ
ЛЮДЯХ



Виктор Астафьев

**РАССКАЗ
О ЛЮБВИ**

РАССКАЗЫ О СОВЕТСКИХ ЛЮДЯХ

Виктор Астафьев

РАССКАЗ О ЛЮБВИ

ПЕРМСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
• 1961 •

Деятнадцатилетний солдат Ерофеев был на фронте в годы Великой Отечественной войны. После тяжёлого ранения, в результате которого он потерял способность действовать рукой, Ерофеев оказался в госпитале. Здесь он встретил такую же молодую студентку Лиду, работавшую медсестрой, и полюбил её... Сейчас Ерофеев, взрослый человек, вспоминает о себе в войну, о своей трудной солдатской судьбе, о своей любви, о том, какой она была чистой и достойной преклонения, о незабываемости и неистребимости такой любви.

Автор рассказа Виктор Петрович Астафьев родился в 1924 году в Сибири. Детство и юность его прошли в деревне и в заполярном порту Игарке. Окончив ФЗО, он работал составителем поездов. Осенью 1942 года ушёл добровольцем на фронт, сражался до конца войны. После демобилизации был рабочим ряда предприятий города Чусового, затем несколько лет литработником газеты «Чусовской рабочий». Писать начал с 1951 года. Его рассказы и повести печатались в пермских газетах, в альманахе «Прикамье», журналах «Урал», «Знамя», «Молодая гвардия» и в разных сборниках. В Пермском книжном издательстве вышли сборник его рассказов «До будущей весны» (1953), книжки для детей «Васюткино озеро», «Огоньки», «Дядя Кузя, куры, лиса и кот», роман «Тают снега» (1958), сборник повестей и рассказов «Стародуб» (1960). В издании Детгиза (Москва) вышел в 1958 году сборник рассказов для детей «Тёплый дождь», в Свердловском книжном издательстве в 1959 году — повесть «Перевал».

Я родился при свете лампы в деревенской бане. Об этом мне рассказывала бабушка.

Любовь моя родилась при свете лампы в госпитале. Об этом я расскажу сам. О своей любви мне рассказывать не стыдно. Не потому, что любовь моя была какой-то уж чересчур особенной. Она была обыкновенная, эта любовь, и в то же время самая необыкновенная, такая, какой ни у кого и никогда не было, да и не будет, пожалуй. Один поэт сказал: «Любовь — старая штука, но каждое сердце обновляет её по-своему».

Каждое сердце обновляет её...

Я до сих пор помню её до мельчайших подробностей, от первого и до последнего дня. Впрочем, последнего дня не было и не будет. Даже большая река может в конце концов иссякнуть, но любовь никогда. У неё есть начало, а конца не бывает. Этим она и велика.

Однако чего же это я в рассуждения пустился? Ведь я уже убедился в том, что любовь не терпит рассудочности, любовь не терпит того, чтобы её измеряли, взвешивали и судили. Любовь неподсудна! Время, годы утвердили меня в этом убеждении. Годы, годы...

Это началось в городе Краснодаре, на Кубани, в госпитале. Госпиталь наш размещался в на-

чальной школе, и возле неё был садик без забора, потому что забор свели на дрова. Осталась одна проходная будка, где дежурил вахтёр. Он принуждал посетителей следовать только через вверенный ему объект.

Ребята (я так буду называть солдат, потому что в моей памяти все они сохранились ребятами) не хотели следовать через объект и «пикировали» в город мимо вахтёра, а потом рассказывали такие штуки, что у меня перехватывало дыхание от зависти и гореди уши. Тогда ещё не было в ходу слово «пошляки», и оттого, верно, я не считал похождения солдат пошлыми. Они просто были солдаты и успевали с толком провести отпущенное им судьбой, а может, и смертью, время.

Вам когда-нибудь приходилось бывать под наркозом несколько раз подряд? Если не приходилось — и не надо. Это очень мучительно быть несколько раз под наркозом.

Помню, был я маленький и играл с ребятами на сеновале. Они бросили на меня охапку сена, навалились на него, и я стал задыхаться. Я рвался, бил ногами, но они смеялись и не отпускали меня. А когда отпустили, я долго был как очумелый.

Когда мне давали первый раз наркоз, я досчитал до семи. Делается это просто: раз — вдох, два — выдох. Потом делается душно — захочется крикнуть, рвануться, чтобы вытолкнуть из себя тугой комок, стряхнуть тяжесть. И рванёшься, и крикнешь. Рванёшься — это значит слегка пошевелишь рукой, а крикнешь — чуть слышным шёпотом.

Но неведомая сила внезапно бросит с операционного стола куда-то в бесконечную темноту.

И летишь в глубь её, как звёздочка в осеннюю ночь. Летишь и видишь, как гаснешь.

И всё.

Ты уже во власти и воле людей, но для себя не существуешь.

Я почему-то думаю, наверное, вот так умирают люди. Может быть, и не так. Ведь ни один умерший человек не смог рассказать, как он умер.

Тогда я завидовал тем, кто быстро засыпал под наркозом. Очень тяжело засыпать долго. Вот уже шестнадцать лет мне становится душно от запаха хлороформа, поэтому я не люблю заходить в аптеки и больницы.

Помню, в тот раз, с которого и началось всё, я досчитал до семидесяти и канул во тьму.

Приходил в себя медленно. Где-то внутри меня происходила непонятная, трудная работа, словно диски сцепления в двигателе подсоединились один к другому и мозг ненадолго включался. Я начинал чувствовать, что мне душно, что я где-то лежу. И снова всё отдалялось, проваливалось. Но вот я ещё раз почувствовал, что мне душно, что я лежу и кругом тишина, и только пронзающий голову звон летит отовсюду.

Я напрягся и открыл глаза.

Посреди палаты было светло. Я долго смотрел на свет, боялся закрыть глаза, чтобы снова не очутиться в темноте.

Горела лампа. Стекло на ней было прикрыто колпачком из газеты в виде абажура. Я постепенно разгляделся и увидел, что сооружение это повернуто так, чтобы свет не падал на меня.

Мне почему-то стало приятно. Возле лампы спиной ко мне сидела девушка и читала книгу. Я долго смотрел на неё и увидел, что она в белом халате. Поверх воротничка халата темнела вроде

бы косынка. Волосы вытекали из-под белого платка на её остренькие плечи.

Шелестели страницы. Девушка читала. Мне хотелось воды, чтобы смыть из горла тошноту, но я боялся испугнуть девушку. Мне было до жалости приятно смотреть на неё и хотелось плакать. Я ведь был всё равно что захмелелый, а хмельные русские люди часто плачут.

И чем дольше я смотрел на девушку, тем больше меня охватывала эта умильная жалость от того, что вот лампа горит, девушка читает и что я снова вижу всё это, вернувшись невесть откуда, из какого-то тёмного царства, где только то и делают, что держат тебя за горло и душат. Долго держат, долго душат. Я, наверное, заплакал бы, но тут девушка обернулась. Я отвёл глаза и полуприкрыл их. Однако я слышал, как она отодвинула стул, как повернула абажурчик, и мне стало светлее. Слышал, как она подошла ко мне. Я всё слышал, но притаился, сам не знаю почему.

Она склонилась надо мной, и я увидел близко тёмные глаза с ослепительно яркими белками, разлетевшиеся на стороны брови. Я увидел изогнутые ресницы, слегка припухлую нравную губу, тоненькую, почти мальчишескую шею, вокруг которой в самом деле была обёрнута цветная косынка. Нет, вру. Она не обёрнута была. Халатик на девушке был с бортами, и косынка спускалась с шеи вдоль этих бортов. Из кармана халата торчал градусник с обвязанной бинтом верхушкой. А одна пуговица на халате была пришита чёрными полинялыми нитками. И ещё на девушке была кофточка, тоже завязанная чёрной тесёмочкой, как шнурок на ботинке — двумя петельками. А повыше петелек дышала ямка. Я видел, что она дышала, эта ямочка! Я всё, всё увидел, хотя в па-

лате горела лампа, всего лишь семилинейная лампа. Наверное, был ещё какой-то свет, который озарил мне всю её разом!

— Ну, как вы?

Я постарался бодро ответить:

— Ничего.

Девушка озабоченно и смешно сдвинула брови, которые никак не сдвигались, потому что очень уж разбрелись они в разные стороны, и подала мне воды. Я потянулся к стакану, но девушка отстранила мою руку, ловко подсунула мне под голову ладонь и приподняла меня.

Я выдул полный стакан воды, хотя пить не особенно хотелось. Она спросила:

— Вам дать снотворный?

— Не, — испугался я, застигнутый врасплох этим предложением. — Я не хочу спать, — и просительно, чего-то стесняясь, добавил: — Я уже наспался...

— Тогда лежите спокойно.

Она снова села за стол и раскрыла книгу. Но теперь я уже не решался долго смотреть на девушку. И только так, изредка, украдкой пробегал по ней глазами. Она сидела вполоборота, готовая в любую секунду подойти ко мне. Но я не звал её, оттого что не решался.

В палате спали и бредили раненые солдаты. Некоторые скрежетали зубами, а Рюрик Ветров, бывший командир миномётного расчёта, всё время невнятно командовал. Это уж всегда так — отвоюется наяву солдат и во сне ещё долго, долго продолжает воевать. Только во сне очень трудно стрелять. Всегда какая-нибудь неполадка с затвором стрясётся или курок не спускается, а то ствол змеевиком сделается. Война во сне очень нелепая, но она всегда заканчивается благопо-

лучно. Иной раз за ночь убьют раз десять, но всё равно проснёшься. Во сне воевать ничего, можно.

Я так и не решился позвать девушку. Я просто чуть-чуть шевельнулся, и она подошла. Подошла и снова спросила:

— Ну, как вы?

И снова я сказал:

— Ничего... — Сказал и проклял себя за то, что никаких других слов на ум больше не приходило. — Ничего, — повторил я и заметил, что она собирается уходить. Я сглотнул слюну и чуть шевельнул пальцами здоровой руки: — Вы... Вы какую книжку читаете?

— «Хаос». «Хаос» Ширванзаде. Читали?

— Не-е. «Хаос» я не читал. А вот «Намус» читал. Это вроде бы тоже Ширванзаде?

— По-моему, да.

Снова стало не о чем говорить. Я знал, что она вот-вот уйдёт, и заторопился:

— А я много книжек читал. — Мне тут же стало жарко от стыда, и я пролепетал: — Правда, много, разных, всяких... Ну, может, и не так много... — Я разом возненавидел себя за такое хвастовство, отвернулся к стене и отрешённо ковырнул стенку ногтем, уверенный, что девушка сейчас уйдёт и будет вечно презирать меня.

Но она не уходила.

Я озадаченно прислушался.

Нет, она стояла рядом, и я, кажется, слышал её дыхание.

— Вам, может, почитать? — спросила она.

— Ой, пожалуйста! — обрадовался я.

Девушка огляделась, покусала губу:

— Ах, нельзя. Свет будет мешать вам и соседу вашему, а он тяжёлый. Знаете что, давайте лучше пошепчемся, а?

— Как это?

— Ну, поговорим шёпотом.

— Давайте, — сразу переходя на стыдливый шёпот, за которым что-то скрывалось, согласился я. И мы заговорили шёпотом.

— Вы откуда? — наклонилась она ко мне.

— Сибиряк я, красноярец.

— А я здешняя, краснодарская. Видите, как совпало: Краснодар — Красноярец.

— Ага. Совпало, — с восторгом потрянул я головой и задал самый смелый вопрос: — Как вас зовут?

— Лида. А вас?

Я назвался.

— Ну вот мы и познакомились, — сказала она совсем уже тихо и отчего-то опечалилась. А я соображал: не сделал ли опять чего-нибудь неловкое?

— А теперь помолчим. Вам ещё нельзя много разговаривать. Вам поспать бы.

— Нет, не буду, мне уже ничего... — запротестовал я, — хорошо.

— Знаю я вас. Все вы так геройствуете, а потом...

И я сразу скис. Конечно, все мы. Нас тут много. А я-то уж, готово дело, расчувствовался. Она, небось, со всеми так вот шепчется, всех ласкает, как умеет. Жалко ей, что ли, пошептаться или воды подать. А я аж целый стакан выдул. Балда!

И до того я расстроился, что мне, по всей видимости, стало хуже, и когда я очнулся снова, рассвет уже забил робкий огонёк лампы сопалённым по краям газетным абажурчиком.

Солдаты просыпались, крихтели и охали, потому что вместе с ними просыпалась боль от ран,

боль от недавно сделанных операций. Стоны, ворчанье, кашель, ругань — знакомая картина.

Палата наша была послеоперационная, лежало нас здесь семь человек.

— Как дела? — спросил меня Рюрик Ветров, всю ночь командовавший миномётом.

— Живу, — коротко ответил я, глядя на лампу, которую забыла погасить Лида. «Где она сейчас? Сменилась или нет? Хорошо быть ходячим».

— Курить будешь? — опять полез с вопросом Рюрик.

— Без курева тошно.

— А я, братцы, закурю, — попросил у всех разом разрешения Рюрик.

Никто ему не ответил. Через минуту в палате хорошо запахло табаком и ненадолго пропала палатная вонь, в которой смешались все запахи, какие только бывают в больницах.

«Хорошо-о, — сердился я неизвестно отчего, — очень хорошо! Водички попил, на косыночку посмотрел, пошептался и рассолодел, готово дело. И до чего я чувствительный, оказывается! Но не на такого напала! Меня, брат, этими штучками не доймёшь... Я, брат.. Я вот сейчас встану и погашу лампу. Какого чёрта она горит днём! Керосину много, да? Я вон до фронта на станции работал, составителем поездов. Там дальние стрелки иной раз не освещали — керосину не хватало. А тут, видали, палят!».

Я опёрся здоровой рукой о кровать, сел, и всё пошло передо мной кругом: палата, стол с лампой, скуластый Рюрик, у которого ран было столько же, сколько и годов, — девятнадцать...

Постепенно всё стало на свои места. Я глянул на Рюрика. Он мне подмигнул. Хорошая у него морда. Нос набок, рот большущий, уши круглые,

как у соболя, в треугольнике рубашки виднеется орёл с утиным клювом, увлекающий женщину под небеса.

Рюрик знает обо мне всё, и я о нём тоже — мы одногодки.

Я подхватил раненую руку, поднялся, утвердился на полу, подошёл к столу и дунул. Свет в лампе качнулся, взмыл вверх, и его не стало. От фитиля ещё долго тянулся дым. Он обволакивал и без того потемневшее за ночь стекло, но и дым скоро исчез.

— Дай докурить, — подсел я к Рюрику. Он обкусил замусоленную сигарку, выплюнул ошмётки на пол и сунул недокурок мне в губы.

— Раза два дёрни, и всё, довольно.

— Ладно.

Я затаился два раза, и Рюрик без лишних разговоров вынул окурок из моих губ. Я ещё посидел маленько и, страшась расстояния в три шага, отправился на свою кровать. Голова закружилась. Меня качнуло и бросило на соседа. Он зажмурился от ужаса, но я не упал на него. Падать на него было нельзя — он ранен в живот.

— Носит тебя тут, — заворчал сосед. Он поймал меня за кальсоны, подтолкнул вперёд.

Ходячих у нас в палате не было, и я кое-как самостоятельно добрался до своей кровати.

Я лёг и закрыл глаза. Стало сильнее тошнить. Зря курил, совсем зря.

Этот день прошёл в каком-то зыбком полусне. Я ничего не ел, не курил больше, читать не мог, разговаривать тоже. Наркоз выдыхался медленно. Но, к удивлению всех, я спросил во время

вечернего обхода у врачихи, называвшей меня сыном:

— Ходить когда разрешите?

— Сие зависит от тебя. Будешь смирно лежать — скоро, прыгать станешь — полежишь.

«Зависит, — раздражённо повторил я про себя, — если зависит, так полежу и смирно. Не жалко».

Но я не смог полежать, как было велено, и двух дней.

Однажды вечером я потихоньку поднялся и, придерживаясь за спинки кроватей, побрёл к двери. Перед тем как подняться, я долго глядел в зеркало и любовался причёской — больше-то нечем было любоваться.

Я и забыл сказать, что с тех пор, как окончательно очнулся от наркоза, я занимался только своими волосами. Случилось так, что до этого у меня никогда не было причёски. В деревне бабушка стригла меня наголо ножницами, в детдоме всех нас чохом обрабатывали машинкой. В ФЗО я пытался отпустить чуб, но дальше одного или двух сантиметров дело не пошло — обкарнали. Ну, а потом армия, форма двадцать, суровые порядки. Одним словом, лишь в госпитале наступила некоторая вольность. Я забыл сказать ещё вот что. В этом госпитале я лежал недавно. В него я был переведён из армейского госпиталя, где и начал отращивать чуб.

Госпиталь этот именовался не то нервно-патологическим, не то нервно-терапевтическим. В общем — нервным. А у меня на руке были перебиты обе кости и нерв. Вот его-то и вылавливали доктора, пока я лежал под наркозом. Говорят, связали, но пальцы всё равно не шевелятся. Рука не живёт и совсем, совсем не болит. Она висит,

ровно чужая. Пальцы на ней усохли и пожелтели. Мёртвая рука.

Что я буду делать после госпиталя? Как жить? Я — составитель поездов, и у меня семь классов образования. Чтобы работать составителем, нужны обе руки, обе ноги, оба глаза. А у меня ещё прошлые ранения: подбит осколком глаз, поломана нога...

«А, наплевать! Не один я такой. Не пропаду. Не так страшен чёрт, как его малюют!».

Я очень люблю шуточные слова, всякие там присказки, каламбуры. Это потому, что я весёлый и беззаботный парень. Очень весёлый. И ещё я, кажется, влюблённый. Очень влюблённый! И мне надо выбраться в коридор, ну просто позарез надо. А рука, глаз, нога — это всё пустяки. И то, что я в одном белье, — тоже пустяки. Я обернул одеяло вокруг бёдер, как римский патриций, и вот в такой юбке шеголяю. Все ребята ходят в таких же. Так прилично и не видно зашнурованной бинтом прорехи, и теплее, и вообще удобно.

Главное — это моя причёска, мой, можно сказать, единственный козырь. Ой, худо будет людям, когда они доживут до безволосой поры. Ну чем они будут тогда форсить? Чем? Мне их жалко. А впрочем, мне не до них, не до этих людей, которые будут жить после меня, в туманной дали будущего.

Ух и здорово я умею иногда сказануть! И я уверен, что если бы Лида поговорила со мной ещё раз, я бы такие вещи ей рассказал из книг, про фронт и про тому подобное, что она сразу бы сомлела и взоры наши, и вздохи наши слились бы воедино. Где я это вычитал? Сильно написано! Вот я и в коридоре. Вспотел. Прислонился к стене. Горела всего одна лампа. Электростанция в

Краснодаре ещё не восстановлена. И вообще город жил ещё трудно — это я знал по разговорам.

В дальнем конце коридора наша «культурница» Ира беседовала с раненым. Судя по всему, намечался план культмероприятий. Я начал продвигаться вдоль стены к этой парочке. Раненый с сожалением выпустил руку собеседницы и досадливо глядел на меня. Я же на него не глядел. Мне было не до него. Я хотел спросить у Иры, дежурит ли сегодня такая тоненькая сестрёнка с огромными глазами, у которых белки блестят, как фарфоровые, и повыше чёрной завязки дышит ямочка, а спросил совсем про другое:

— Ирочка! Который час?

Удивлённая моим игривым тоном, Ирочка пожала плечами, дескать, я лично ничего общего с этим солдатишкой в юбке не имею, и сказала мне время. Я ещё любопытствовал, когда завтра откроется библиотека. Ирочка уже сердито ответила, что в послеоперационную палату она сама принесёт книги и, кроме того, доложит главврачу, что я ходил без разрешения по коридору.

— Что ж, валяй, — вздохнул я и отправился в свою палату. На пути я заглядывал во все приоткрытые двери.

Я сидел возле ванной комнаты на колченогом деревянном диване и во всю головушку орал:

Я — цыганский барон,
Я в цыганку влюблён!..

На мой голос явился псих из девятой палаты и закатил глаза:

— К-к-к-к-к...

— Пой, — сказал я мрачно. Я уже знал —

заики или те, кто перенёс контузию и у кого восстанавливается речь, поют внятней, чем говорят.

И псих пропел:

— К-канчай м-му-узыку!

Психами мы звали контуженных. Их у нас целая палата. Ни одного ранения нет на теле контуженного, ни одной дырки, а он всё равно что не человек. Один из контуженных залез в ванну и обварил себя кипятком. Другой отрезал себе палец. Просто так, взял бритву и отхватил. Человек, не чувствующий боли, вкуса пищи, забывший грамоту и даже мать родную, — разве это человек? Всё выбито, истреблено. Из него заново пытались сделать человека. Но, удивительное дело, почти все контуженные болезненно переносили музыку и пение. Вот и этот прибыл. Я ещё только начал петь, а он уже явился.

Поскольку многие из контуженных были взяты с передовой в беспамятстве и оставили там, на поле боя, всё, даже своё имя, мы их всех подряд звали Иванами. И я мрачно сказал этому Ивану, который уже заметно подлечился и верховодил в девятой палате:

— Уйди! Я ещё немного попою и перестану.

Иван, как птичка, свернул голову на плечо, глуповато уставился на меня печальными глазами и открыл рот. Я отвернулся и повёл дальше:

Знает свод голубой,
Знает встречный любой,
Даже старый наш клён
Знает, как я влюблён...

Иван хихикнул и поддёрнул кальсоны.

Я замахнулся на него:

— Как дам!

Лицо Ивана вытянулось и сделалось вовсе глупым. Я ушёл в палату. Так и не дозволяя

кого хотел. Для Ивана или просто так мне петь не хотелось.

Вот так штука!

Оказывается, голос мой достиг не только ушей контуженных. Его услышала и культурница Ира и мобилизовала меня в самодеятельность. Я недолго сопротивлялся и дал согласие, потому что в глубине души надеялся покорить кое-кого если не чубом, так песнями.

И вот я в палате выздоравливающих, где в тихие времена был школьный спортзал. Я пел под баян грустную-грустную песню:

Не надейся, рыбак, на погоду,
А надейся на парус тугой.
Не надейся на тихую воду,
Острый камень лежит под водой...

Я и раньше участвовал в самодеятельности и даже приз однажды получил на районной олимпиаде — коробку шоколадных конфет. Я угощал конфетами ребят и девчонок, наших, детдомовских. Всем конфет не хватило, и последние резали пополам, а потом на четвертушки. Мне и четвертушки не досталось. Тогда первоклассница Муська Кочергина дала мне откусить от конфетки чуть-чуть, как от своей собственной. Муська, Муська, помнишь ли ты про конфетку? Я вот всё помню. И как пельмени всей оравой стряпали на Новый год и бросали друг в друга тестом; и как задом наперёд кино показывали; и как курили в уборной и вы, девчонки, выслеживали нас, а мы грозились отлупить вас и не лупили, потому что в нашем детдоме был неписанный закон не бить девчонок и тех, кто меньше. А мы ведь драчуны

были, ой, драчуны! И учиться нам всё некогда было, и грешили с нами взрослые люди. Я всё помню, всё!

На баяне играл Рюрик. Рюрик, по-моему, человек неистребимый. Он весь в осколках. Один осколок даже пробил ему щёку и попал в рот. И Рюрик говорил, что проглотил его впопыхах. Врал, пожалуй. Он любитель приврать.

Рюрик лежал пробитой щекой на деке баяна и выводил так, будто не в палате находился, а где-то на реке или на озере в закатный час, и печалился вместе с угасающим днём.

Злая буря шаланду качает,
Мать выходит и смотрит в окно,
И любовь, и слезу посылает
На защиту сынка своего...

Слова, песню мы восстанавливали по памяти и, по всей видимости, сильно изменили её в соответствии со своими мечтами и талантами. Но припев остался тот же, и я невольно снижал голос, и чувствовал, что припев этот получается лучше, доверительней и что дурной совет давала мне Ирочка: петь громче. Чем, мол, громче, тем шибчей проймёт. «И что она понимает в искусстве! Ей только бы с офицерами в уголочке шушукаться. И как она в культурницы попала? Должность все-таки...».

А баян вёл меня, требовал не отставать.

Сразу солнце заплещется рыбой,
И лучи серебром заблестят.
Если мать провожала с улыбкой,
То с улыбкой вернёшься назад...

И пока Рюрик пробежал проигрыш, и пока дело дошло до того, чтобы повторить мне две последние строчки и закончить песню, я успел

мысленно пройтись по всей своей девятнадцатилетней жизни, такой ещё небольшой, такой нескладной и всё-таки моей, дорогой мне жизни.

Очень мне жаль, что ни с улыбкой, ни без улыбки не провожала меня мать. Никто не провожал. Я сам уехал в армию, добровольно, один. И встречать никто не будет. Вот выйду из госпиталя инвалидом, ни к труду, ни к жизни не приспособленным...

Умереть бы мне здесь. Вот тогда бы, может, и пожалела обо мне Лида. И сказала бы, может: «Эх, парень-то был, и пел славно, и чуб у него был ничего...»

Я окинул взглядом палату. Койки, койки, койки. Весь спортзал набит ими. На койках лежали и сидели раненые. Молодые и старые, русские и нерусские, беззаботные и грустные, с причёсками и без причёсок, с костылями и без костылей, с руками и без рук, с ногами и без ног. Горе людское собралось сюда и слушало мою песню.

Среди раненых, рядом с офицером, сидела и Лида. Я уже давно перестал смотреть в её сторону. И тушеваться перестал. Что мне до неё, когда вон сколько глаз смотрело на меня и чего-то ждало. Я сам раненый, я сам почти убитый, и потому я знал, что от меня ждут. И я обнадежил этих знакомых и незнакомых мне изувеченных людей:

Если мать провожала с улыбкой,
То с улыбкой вернёшься назад.

Я не пел, я почти говорил им это твёрдым голосом, из которого исчезла моя девятнадцатилетняя печаль. И я видел, что они мне поверили. Однорукие стучали о колени, лежащие колотили костылями об пол — это аплодисменты.

Рюрик встал и принялся раскланиваться, как

перед чужими, направо и налево. А мой целый глаз упрямо косил туда, где сидела Лида с офицером. Она сделала несколько вежливых хлопков и повернулась к молоденькому офицеру, который отрастил усики. Форсистые чёрные усики. «Кому что нравится, конечно. Кому — чуб, а кому — усики», — мысленно глумился я над этой парочкой и услышал шёпот Рюрика:

— Поклонись, поклонись, дуб! Полагается!

— Иди ты! — окрысился я на него и выскочил из палаты.

Мне уже было всё нипочём.

Лиду на время перевели в операционную, и я не мог видеть её даже издали. А если и видел, то проходил мимо с гордым видом и безразличным тоном бросал: «Здравствуйте».

Я пытался не замечать её и, когда она появлялась поблизости, отворачивался и заговаривал с кем-нибудь. Заложив руку за спину, я небрежно отставлял ногу и со значением произносил: «Прут наши, прут! Скоро по домам!» Или: «Краснодар — препаршивый городишко, и люди здесь больно уж какие-то гордые» — и хохотал.

А когда я однажды заметил, что тот самый офицер с усиками надел кожаное, лётчицкое пальто и пошёл провожать Лиду, то с горя закрутил с Капой из электрокабинета. Пальто это меня доконало.

Капа усаживала меня в уютное кресло, накрывала одеялом, и меня начинало греть со всех сторон, в особенности из-под низу. Поначалу я держался бодро, рассказывал Капе разные военные побасёнки, и она громко смеялась, старательно показывала мелкие беличьи зубки. Но постепенно

голос мой становился дряблым, язык заплетался, и я ронял голову на грудь и погружался в бархатный сон.

Я заметно поправился за это время, но рана на руке не заживала. На каждом обходе лица врачей делались всё озабоченней и озабоченней. Они вертели мою руку, кололи её иглой, заставляли шевелить пальцами. Я напрягался, но ни один из пяти пальцев даже не вздрагивал и боли от иглы не было. «Хорошо», — говорили врачи и уходили. Но я уже знал, что если врачи говорят «хорошо» — это значит плохо. Так оно и вышло.

Как-то днём появилась в нашей палате Лида и прямо направилась ко мне:

— Больной, будем готовиться к операции.

— К какой опять?

— К обыкновенной.

— Так я готов. Режьте! Чего вам ещё? Клизму мне не надо. Брюхо у меня крепкое, ничего не случится. Я не какой-нибудь офицер-интеллигентик...

Последние слова я проговорил по возможности неразборчиво и тихо, но Лида услышала их и уничтожительно сощурила глаза.

— Когда на операцию? — заторопился я.

— Завтра, в одиннадцать. — Она повернулась и ушла, а я закрыл лицо рукой и упал на подушку.

Я боялся операции. Я боялся наркоза. Я боялся темноты.

В ту ночь я почти не сомкнул глаз. Несколько раз ко мне подсаживался Рюрик, давал докурить и со вздохом уходил на свою кровать.

К одиннадцати часам я крепко-накрепко прикрутил бинтом к животу кальсоны и пришёл в

операционную. Там была только Лида. Она помогла мне снять рубаху, глянула на подвязанные кальсоны и ничего не сказала, а подсобила забраться на холодный операционный стол и прикрыла меня до пояса простынёй.

Противная, мелкая дрожь родилась внутри, дошла до губ, и меня начало колотить. Хорошо, что Лида возилась у кипятильника с инструментами и не видела этого. Из соседней комнаты с поднятыми вверх руками появился хирург и отдал Лиде какую-то команду. Она склонилась ко мне с просящей улыбкой:

— Будем ровно и глубоко дышать, да?

Я тряхнул головой, и тут же на моё лицо обрушилась маска. Послушно, как обречённый, я вздохнул и сказал: раз, потом два, потом три. Когда дошло до ста двадцати, откуда-то издалёка донёсся убаюкивающий голос Лиды:

— Родненький, спи! Родненький, спи...

Затем голос хирурга:

— Почему больной не снял бельё?

И ещё чей-то:

— Смотрите, как он подштанники-то бинтом прикрутил — не развязать.

И снова издали, и всё тише, тише:

— Родненький, спи... Родненький, спи...

Должно быть, я плохо спал, потому что, когда очнулся в палате, на мне оказалась разорванная до пупка рубаха и здоровая рука моя была прикручена к кровати.

Возле меня сидел Рюрик.

— Ну, здорово, Миха! — ухмыльнулся до ушей Рюрик.

— Здравствуй, Урюк! — сказал я ему с детской радостью. Урюком я его ещё никогда не называл, и Рюрик нахмурился, считал, должно быть, что я всё ещё не в своём уме.

— Отвяжи руку, — попросил я Рюрика. — Затекла. Бушевал я, что ли?

— Ой, бушевал! — откручивая накрепко привязанный ремень, помотал головой Рюрик. — В основном матом всех крыл. Врачиха тут, а ты кричишь: «Что фашисты, что доктора — одинаковы. Все — кровососы!».

— Да ну?

— Пра. Оно, конечно, не в уме ты был. Но только уж и безумному такое непростительно. Я окончательно убедился, что против сибиряков по мату никто не устоит.

— Я что... Вот у меня дед был, тот в тридцать три колена загибал...

— В тридцать три, — передразнил Рюрик. — Посмотрел бы ты, что с той девушкой было...

— С какой девушкой? — похолодел я и пощупал под одеялом — бинт на месте. Кальсоны прикручены — будь здоров.

— Да с сестрёнкой из операционной. Она около тебя и так, и этак, родненьким называла, а ты... Ребята в хохот, а она ногой топнула: человек, говорит, в неменяемом состоянии и смеяться, говорит, над ним могут только бессовестные люди. Ну я тут одному костылём по кумполу отоварил. В дверь заглядывал... В общем, был концерт.

Я не успел ничего сказать Рюрику в ответ на это сообщение. Дверь в палату открылась, и быстро вошла Лида. Губы у неё строго поджаты, лицо силилось быть суровым, но глаза смеялись.

— А ну, где тут этот скверный мальчишка? Где этот негодник, который громил советскую ме-

дицину? Дайте мне его, я с ним за всех рассчитаюсь.

Я закрыл глаза рукой и ещё одеяло на себя натянул. Но Лида приоткрыла одеяло и стала отнимать мою руку от лица. Она разжимала пальцы один за другим, а я слабо сопротивлялся.

— Видали вы его, прячется, устыдился! Нет, ты погляди, погляди на меня, — всё тем же строгим голосом, в котором бился смех, требовала она, и я поглядел. И навстречу мне плеснулось столько яркого света, что я зажмурился и сказал едва слышно:

— Лида!

— Что, родненький, что?

— Лида! — повторил я ещё тише и увидел, что Рюрик подаётся из палаты, прихватывая с собой всех, кто способен двигаться. Он создавал нам условия для беседы. Но в том, что Рюрик ушёл, содержался невольный намёк на что-то, и я вовсе смешался, и наступила долгая пауза.

Лида подсчитала у меня пульс, посмотрела температурный листок. Хорошо быть медиком. Если разговору нет, делом можно заняться.

— Вы будете приходить теперь... ко мне...

Она погладила меня тёплой ладонью по лбу и тронула за губы:

— А тебе хочется, чтоб я приходила?

— Ага.

Лида всё ещё перебирала пальцами мои волосы, и я боялся шевельнуться, даже дышать боялся. И хотя в палате лежало несколько человек после операции, мы, кажется, чувствовали себя так, словно были одни.

— Идти мне надо, Миша, — с озабоченным вздохом сказала Лида, а сама продолжала сидеть. Я осторожно сжал её пальцы:

- Посиди ещё маленько?
- Две минутки, ладно?
- Пять.
- Ну, хорошо, пять, — уступила она.

И мы просидели не пять, а наверное, целых десять минут. Когда она ушла, явился Рюрик, кинул на тумбочку книгу. Видно, тех книг, что в палату приносят, ему недостаточно — мудрый человек!

Дня через два Рюрика перевели в большую палату. Я попросился туда же. Прибыла большая партия раненых, и в послеоперационной палате нужны были места.

Мы поставили две кровати вплотную за печкой-голландкой и довольно уютно устроились. Это был чуть затаённый, дальний уголок, и сюда устремлялся госпитальный люд с разными делами, не терпящими постороннего глаза: играли в карты, рассказывали всякую всячину, выпивали, если удавалось достать вина.

Как только попал я в палату выздоравливающих, дела мои пошли на поправку. Рука стала оживать, и я принялся тренировать её. Мало того что я преследовал массажистку и заставлял её выделывать с рукой разные штуки, я и сам всё время тревожил немые пальцы, шевелил их, заламывал и уже мог, правда, ещё с трудом, держать сигарку.

Но если говорить по совести, не этим всё же заняты были мои мысли и время, которого так много в госпитале.

Я всегда, каждый час, каждую минуту ждал Лиду. Она дежурила через сутки, и эти сутки я раскладывал по частям. Мне казалось, что так

легче ждать. Я говорил себе: «Вот осталось уже полсуток», «вот десять часов», «вот четыре часа», «вот один».

Когда оставался один час, я выходил в раздевалку и околачивался там.

Парадная дверь была широкая, со стёклами, и я замечал Лиду ещё во дворе. Она чаще всего являлась со старым портфелем, у которого отваливался один железный уголок. Лида училась в медицинском институте и в госпиталь на работу приходила прямо с занятий.

На Лиде было узенькое в талии пальтишко, а вокруг шеи лежала рыженькая лиса с обхлёстаным хвостом. И ещё на ней был беретик, освежённый акрихином. Ей очень шло жёлтое.

Ей всё шло. Девчонки, работавшие в госпитале, да и все мы считали, что Лида шикарно одевается и имеет уйму всякой одежды. И как я удивился, когда узнал впоследствии, что у неё было всего лишь два платишка да кофточка, та самая, со шнурочком.

Полюбовавшись Лидой издали, я задавал стрекача по коридору. Потом точно рассчитывал время, потребное на то, чтобы раздеться человеку, и не спеша, вразвалку, с видом не обременённого никакими заботами парня, шёл и насвистывал. На повороте я «неожиданно» сталкивался с Лидой и удивлённо приветствовал её:

— О-о, Лида! Моё почтение! Как ваше ничего поживает?

— Здравствуй, Миша. Ничего моё поживает ничего, — и улыбалась усталой и доброй улыбкой. Один передний зуб был у неё чуть сломан наискось, и меня он особенно умилял. Но я не показывал вида, что меня умиляет зуб, и безразличным тоном, иногда даже с зевком, говорил:

— Заходи в гости, когда захочется.

— Хорошо, зайду, если будет время.

Но времени у неё часто не оказывалось, и тогда я ждал её ещё сутки.

Выдавались, правда, иной раз такие вечера, когда после обхода и после окончания процедур у Лиды высвобождался час-другой и она приходила слушать сказки. Я никогда не умел рассказывать сказки, зато слушать их любил. А тут приохотился и, видно, рассказывал подходяще, потому что Лида и солдаты слушали их с большим вниманием.

Вскоре все сказки, какие я знал, кончились, и я стал их придумывать. Наверное, это были чудные сказки, потому что я собирал в кучу и прочитанное из книг, и виденное в кино, и разные были и небылицы. Но в том, что эти сказки в общем-то имели схожее содержание, можно ручаться. Все они, по-видимому, напоминали те блатные баллады, в которых действует удалой молодец, свою душу сгубивший, а попутно ещё несколько, и считающий себя за это пропащей головой. В этого молодца, не взирая на его прошлое и настоящее, влюбляется купецкая или княжеская дочь, и влюбляется настолько крепко, что когда его застукивают на одном лихом деле и везут на (Магадан, Алдан, Колыму), она тоже добровольно, как декабристка, следует за ним.

В конце концов начальство приговаривает молодца за беспокойную жизнь к смерти, и до ужасной страсти полюбившая его раскрасавица следует за ним даже в могилу, и следует без всякого понуждения: «Кинувшись в море с маяка» или «кинжалом белу грудь пронзила».

Подобных, как принято сейчас выражаться, оторванных от действительности баллад и песен

я наслышался в детдоме от бывших беспризорников. Но я их переделывал на свой лад. Вместо душегуба-блатяги у меня преимущественно действовал благородный воин-храбрец, а вместо купечской дочери фронтовая сестра, называемая то принцессой, то царицей. Оба они были красавцы и оба из сражений выходили целы и невредимы, а дальше шло, как и во всякой доброй сказке: они женились, справляли свадьбу. Я там был, мёд пил и так далее.

Чудные это были сказки! И Лида, очевидно, догадывалась, что я выдумывал их, но она не прерывала меня и хорошо слушала.

Она ведь знала, что я стараюсь для неё и что солдаты, которые слушали вместе с нею мои сказки и хвалили меня за них, вовсе тут ни при чём.

Однажды в госпиталь приехали наши шефы — студенты медицинского института — давать концерт. Рояль поставили в коридор, принесли досок и приспособили их вместо скамеек. Лежачих вынесли на носилках, повывкатывали на тележках, и пошла музыка. Один парень из медицинского института жарил на барабане, другой дул в трубу, третий — в саксофон, а длинноволосый студент в латаных штанах пилил смычком по скрипке. Девчата пели всякие песни про любовь и про войну.

В коридоре был полумрак, потому что горело возле артистов всего несколько привезённых ими же свечей. В дальнем конце коридора, завешенная красным одеялом, виднелась дверь девятой палаты. За нею шла какая-то жизнь, но какая, пока ещё никто не знал.

Ребята уже исполнили один номер, другой. Уже спела белокурая девушка неугасимый в то время «Огонёк», а Лида всё не появлялась. «Неужели не придёт?» — расстроено думал я.

Никакой договорённости насчёт концерта у нас не было, но я всё же захватил для неё место и упорно оборонял его от наседаящей солдатни. В моём же ряду сидел тот офицер с усиками и тоже нет-нет да и озирался по сторонам. Я не озирался, но всё равно почувствовал, когда появилась Лида. Офицер сразу вскочил и предложил ей своё место. А я только метнул взгляд в их сторону и отвернулся.

— Сидите, сидите, — тихо сказала Лида офицеру и уважительно, как бы оправдываясь, добавила: — Чего ж вам стоять, когда есть свободное место.

Она, очевидно, по моему взгляду или ещё по чему почувствовала, что если не сядет рядом со мной, я уйду и чего-нибудь натворю: окно разобью, лампу, а может, и зареву. И она села рядом со мной и сразу уставилась на оркестр с полным вниманием.

Народ захлопал, зашевелился, и я тоже с запозданием начал хлопать. Кто-то втиснулся ещё в наш ряд, и меня прижали к Лиде. Я испуганно отодвигался, теснил соседа и почти навалился на него. Он не выдержал и завопил:

— Шо. я тоби, забор? А? Дэрэвьяный, га?

— Оловянный! — рыкнул я.

«Дэрэвьяный» удивлённо уставился на меня, моргнул и не стал больше ничего говорить.

В это время конферансье, рассказывавший ехидные шуточки про Гитлера и его клику, объявил в нос, как настоящий столичный конферансье:

— Л-любимая песня фронтовиков — «Дочурка»!

К роялю подошла улыбающаяся девушка, поклонилась нам и запела:

Злится вьюга, всю ночь не смолкая,
Замело все дороги-пути.
Ты в кроватке лежишь, дорогая,
Нежно мишку прижавши к груди...

Пела девушка о маленькой дочурке, которую в полуночный час, в час короткого роздыха между боями, вспоминал в окопе отец. За отца-фронтовика занялась этим делом сейчас девушка, женщина, и потому, должно быть, особенно тревожило и скребло сердце.

Одеяло на двери девятой палаты шевельнулось, и из-под него возник Иван, тот самый, что просил меня прекратить «м-музыку».

Иван прислонился спиной к дверному косяку и стал слушать. Я с тревогой следил за ним и почувствовал, как обеспокоенно шевельнулась Лида.

Рот Ивана начал подрагивать и кривиться. Казалось, какая-то жилка на его шее сделалась короче и оттягивала губы вбок. Иван с таким усилием выпрямлял губы, что пальцы его сжимались в беспокойные костлявые кулаки. Блик от свечи падал на лицо Ивана, и я увидел, как постепенно разгораются и дичают его тоскливые глаза.

Это же, очевидно, заметили и санитарки. Они белыми тенями возникли около Ивана и принялись осторожно и молча оттирать его от косяка в палату. Иван тоже молча и настойчиво отбивался от санитарок, не переставая при этом смотреть в одну точку — на свечу, и можно было подумать,

что он судорожно сглатывал музыку подёргивающимся ртом.

И вдруг Иван издал клокочущий, гортанный вопль:

— Н-не цапайт-те! — И тут же высоко, как резинового, его подбросила невероятная сила, и он упал, сражённый припадком, ножницами раскинув ноги.

Музыка оборвалась. И теперь особенно явственно слышалось, как часто и тупо стучал затылок контуженного о деревянные половицы. На крики Ивана выскочило из палаты ещё несколько контуженных, и началось...

Свечи погасли. Коридор провалился в темноту. Раненые бросились бежать. Крики, стоны, вой.

Видимо, опыт разведчика подсказал мне, как надо действовать в этой обстановке. Я схватил Лиду, прижал её к стене и загородил собой. Она порывалась бежать.

Я кричал ей:

— Стой! Изувечат! Стой, говорю!

Кто-то ударил меня, а потом рванул за раненую руку так, что в глазах у меня сверкнул огонь и я охнул.

— Миша, что с тобой? — спросила в ужасе Лиди. И тут же истерически крикнула: — Свет! Зажгите свет! Ой, да что же это такое!?

Появился свет. Санитарки и солдаты из выздоравливающих навалились на Ивана, связали его полотенцем. Глядя по мослатым спинам и по стриженным головам других контуженных, наговаривая им что-то умиротворяющее, баюкающее, санитарки повели их в девятую палату. Туда же пробежала дежурная сестра со шприцем наготове и со стаканом воды.

Двоих солдат тут же унесли на перевязку. Не-

сколько человек люто ругались, охали и шли в перевязочную сами.

А я, когда близко мелькнула лампа, увидел кровь на щеке Лиды и рванулся к ней:

— Кровь! Откуда кровь?

— Не знаю. Какая кровь? — изумилась Лида и вдруг схватила меня за руку: — Это твоя! Это твоя... Я слышала, как потекло на щёку. — И сильно потащила меня: — Скорей, на перевязку, скорей...

Мы очутились в перевязочной. Там толпился бледный народ. Кто похохатывал, кто требовал скорее остановить кровь, некоторые всё ещё рыдали, ругались, а иные лишь слабо стонали. Один больной лежал на столе и вовсе без памяти.

— Всё это вертихвостка-культурница! Предупреждали её контуженные насчёт музыки, предупреждали, — ругался пожилой дядька, усмиряющий голос которого я слышал в темноте. — Настояла на своём, в коридоре музыку завела...

Я потихоньку выбрался из перевязочной и пошёл искать Рюрика. Он оказался цел и невредим, помогал сёстрам. Я тоже стал помогать, но появилась Лида и принялась ругать меня:

— Герой какой нашёлся, без перевязки ушёл!

— Не шуми ты, Лидка, ничего мне не делается.

— Да, не делается, — сказала она, и губа у неё запрыгала. — Вон кровь-то льёт-от. Иди, говорю, на перевязку, несчастный, а то я тебе не знаю что сделаю!

И я пошёл на перевязку.

Ирочку с работы выгнали. Раненых привели в порядок. Всё прибрали, наладили. Вот только шефы наши пострадали — остались без инстру-

ментов. В суматохе погнули трубу, сломали скрипку, а на барабан кто-то наступил или упал и покорёжил его. Студенты, по слухам, прирабатывали на хлеб этой музыкой. Остались без приработка — жаль. Неловко получилось. Нехорошо. Я всегда презрительно относился к этой Ирочке. Оказывается, не зря.

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. После этой «битвы» отношения между мной и Лидой сделались такими, что мы вовсе перестали избегать друг друга и таиться.

Если по какой-либо причине я не выходил её встречать, она сама появлялась в нашей палате хоть на минутку. Солдаты к этому уже привыкли и даже насмеяться надо мной перестали. Мало того, нас всячески оберегали, и до меня дошёл слух о том, что тот самый дядька, который ругал Ирочку, отчитал офицера с усиками. Отчитал за то, что он сказал какую-то поганость.

Конечно, если бы услышал это я сам, то просто дал бы ему плюху, и всё. Но за это меня выдворили бы из госпиталя, а может быть и под суд отдали бы. Бить офицера солдату не полагается даже в госпитале.

Рюрика комиссовали домой. Он получил новое обмундирование и ждал какую-то окончательную бумагу. Мне разрешили проводить его на поезд. Он меня спросил:

— Ты хоть знаешь, где живёт Лидка-то?

— На улице Пушкина, дом с поломанным крыльцом и с флюгером на крыше.

— Ну, раз с флюгером, значит, найдёшь, — заключил Рюрик и бросил на мою подушку свёрток с обмундированием.

Я прикрутил к его гимнастёрке свои награды. Старался попадать в просверлённые им дырки. Надел тесные сапоги и, минуя госпитальные законы, а также вахтёра с будкой, отправился на улицу Пушкина.

Я нашёл дом с флюгером и долго стоял возле поломанного крыльца. А потом сел, потому что ноги, отвыкшие от обуви, жало невыносимо.

Я долго сидел на крыльце, до того долго, что замёрз и сунул руки в рукава стежёного бушлата. Из дома вышла женщина с кошёлкой в руке, глянула на меня большими, всё ещё яркими глазами, и я понял, что это мать Лиды.

— И долго вы намерены сидеть здесь, молодой человек? — поинтересовалась она с едва заметной улыбкой.

— Не знаю, — ответил я уныло. — Ещё посижу маленько, и тогда уж ясно станет.

— Что ясно-то?

— Всё станет ясно.

— Э-э, дорогой солдатик, да ты вовсе закочел! — воскликнула женщина. — А ну, марш в дом! Лидия спит. Разбуди её. Я скоро вернусь из магазина. — И она ушла.

Дверь в сенцы осталась открытой. Я тщательно вытер сапоги, вежливо постучал в дверь и тихо вошёл в дом. Снял бушлат, повесил. Звякнули медали. Я придержал их рукой и огляделся. Старый диван с зеркалом, бархатная с проплешинами накидка на туалетном столике, шифоньерчик с точёными ножками, картина, писанная маслом, в потускневшей раме. На картине арбуз и две груши — скудно для такой рамы.

Отец Лиды был, видимо, начальником, и они жили в довоенное время хорошо. Но куда делся отец, Лида не рассказывала, а спрашивать было

неловко. Во время оккупации Лида с матерью проели все вещи, какие только можно было проесть. Проели и половину дома — это уж после оккупации. И зуб Лида поломала при немцах. Во время обстрела забилась она под стол и не то со страха, не то ещё от чего щёлкала семечки и под разрывами не заметила, как вместе с семечками попала в рот галька. Она хрумкнула эту гальку, и зуб не выдержал. Словом, понесла урон от войны. Ох и дурёха же! Право, дурёха. Спит и не знает, что я пришёл при всех регалиях и в обмундировании. Она привыкла видеть меня в одеяльной юбке или в байковом халате, протёртом на локтях.

Не узнает, небось.

Я придвинулся к дивану и опасно глянул в зеркало. Ничего парень. Лицо, правда, осколком повредило, но это ничего, это за свидетельство героизма сойдёт. Какое-то выражение на лице особенное у меня, незнакомое, осветилось вроде бы чем-то лицо.

Недаром как-то в перевязочной, куда я пришёл после ванной, врачиха, ровно стрелок, прищурилась на меня и сказала так, чтобы слышала Лида:

— Ты посмотри, Лидочка, какой у нас Миша-то стал, а?

Тогда я страшно смутился и удрал из перевязочной. Но я всё-таки знал, что стал красивей и лучше. И мне было хорошо оттого, что я стал лучше, и на душе у меня праздник. А в праздник люди всегда выглядят красивыми.

Я пригладил заметно отросший и чуть волнистый чуб и кашлянул. Никакого ответа. Тогда я осторожно отодвинул занавеску на двери в другую комнату и увидел Лиду.

Она спала.

Я поставил стул и сел подле кровати. Сидел, смотрел, как ровно и глубоко дышит Лида, как легко пошевеливается одеяло на её груди и как бесшабашно раскинулись её волосы по пухлой подушке. Я привык видеть Лиду в белой косынке и не знал, что у неё такие пенистые волосы. Что-то истаивало у меня внутри, трепетало. Я не удержался и дотронулся до волос Лиды. Они были в самом деле как пена: мягкие, невесомые.

Лида шевельнулась и открыла глаза. Секунду она ошеломлённо смотрела на меня, потом подёрнула одеяло до подбородка:

— Ой, Миша!

Она дотронулась до меня, провела рукой по волосам, по лицу, побрякала медалями и счастливо засмеялась:

— Ой, и правда Миша!

Лида схватила меня за чуб и принялась тереть его так, будто это был не мой чуб, а неодушевлённой твари какой-нибудь, но я терпел и улыбался. Она пригнула мою голову к себе, притиснула к груди и заливалась всё громче и громче:

— Мишка! Пришёл! Сам! Один! Нашёл!.. Ой, Мишка, и ты сидел возле меня. Я никогда, никогда этого не забуду, Миша! — Она закусил губу, отвернулась. И я увидел, как покатишься слеза по её щеке.

— Ты что? Ты что это?

— Ты знаешь, Миша, такая жизнь кругом, раны, кровь, смерть, и вот такое... Даже не верится. Всё ещё кажется, что я сплю, и мне не хочется просыпаться.

— Ты какая-то сегодня...

— Какая?

— Нервная, что ли?

— Ну уж и сказанул, — улыбнулась она сквозь слёзы, которые дрожали на ресницах. — Мне ведь одеться надо, Миша. Отвернись.

Мы тут же смутились и стали смотреть в разные стороны. Но глаза наши сами собой встретились.

В упор глядели мы один на другого. Глядели напряжённо, не отрываясь, будто играли в «кто кого переглядит». Лида первая опустила глаза и жалобно попросила:

— Отвернись, Миша.

Я стиснул её руку до хруста.

— Отвернись, роднёнький, — ещё тише повторила она. — Отвернись, лапушка... — голос её слабел, угасал: — Мама... скоро...

Я с трудом выпустил её руку и, переламывая в себе что-то властное, захлёстывающее даже рассудок, отодвинулся, а потом шагнул за занавеску и сел на диван. Медленно унималась дрожь, выравнивало ход сердце, и становилось всё стыдней и стыдней.

— Ты, Миша, удрал без разрешения? — голосом, в котором сквозила виноватость, спросила из-за занавески Лида.

— Да! — сердито отозвался я.

— Молодчик, — совсем уж виновато похвалила она меня и появилась в халатике, смущённая и робкая. Мимоходом, несмело погладила она меня по щеке и прошла к умывальнику, стоявшему в этой же комнате, и стала чистить зубы углём. Я взял с этажерки стянутую верёвочкой стопку «Всемирного следопыта» и принялся смотреть картинки в журналах.

Лида оделась в синенькое платье с белой кокеткой и пришла ко мне на диван свежая, ладная.

— Что-то мама задержалась, — сказала она

таким тоном, будто обманула меня в чём-то, и, не дождавшись моего ответа, с натянутым смехом прибавила: — В очереди застряла. Стареет. Любит с бабами поболтать. А раньше терпеть не могла очередей и болтовни.

Я листал «Всемирный следопыт». Лида отняла у меня подшивку:

— Ну, что будем делать, Миша-Михей?

— Почём я знаю?

— Почём, почём! Бука! — ткнула она меня в бок пальцем. — Мы будем гулять с тобой по Краснодару. Вот придёт мама, поедим и отправимся. А то забудешь наш город. Уедешь и забудешь...

— Не забуду.

— Как знать...

— Не забуду, — начал упрячиться я.

— И до чего же ты сердитый, Миша-Михей!

— У нас вся родова такая. Медвежатники мы.

— Какие медвежатники? Медведей ловили, что ли?

— Ага, за лапу. Дед мой, бывало, придёт в лес, возьмёт медведя за лапу и говорит: «А ну, пойдём, миленький, пойдём в полицию!» И медведь орёт, как пьяный мужик, но следует.

Лида внимательно слушала меня и вроде бы даже верила.

— Го-го-го! — захохотал я. — Ну и балда же ты, Лидка, а ещё в институте учишься!

— Сам ты балда!

— Но, но, не оскорблять гвардейцев! — понарошке заерепенился я, и мы начали дурачиться и бороться. И до чего бы мы доборолись, неизвестно, да в сенках слышались шаги Лидиной матери. Мы отпрянули друг от друга и стали торопливо приводить себя в порядок.

— Мама, а Мишка обманывает меня и ба-
луется, — капризно пожаловалась Лида и наду-
ла губы.

— Это ж основная обязанность мужчин, до-
ченька, — ответила мать, выкладывая из кошёлки
чёрную горбушку хлеба. И по её глазам нетрудно
было догадаться, откуда к Лиде перешло столько
лукавства. Мать тут же окинула меня присталь-
ным и умным взглядом: — Так это и есть тот са-
мый герой, который грудью защитил моё чадо?..

Она разделась и стала цеплять на вешалку
старую плюшевую шубу. Гвоздь у вешалки давно
уже расшатался и вылез из дырки. Шуба была
тяжёлая, и гвоздь не удержал её — выпал. Шуба
тоже упала и слабо охнула. Я взял чугунный утюг
с плиты, выпрямил гвоздь и забил его не в старую
дырку, а в целую доску, пошатал, пристроил ве-
шалку, водворил на место шубу:

— Вот.

Мать Лиды чуть заметно усмехнулась, глядя
на меня, и я немного стушевался, а Лида уже на-
ливали в раковину воды и совала мне плоский
обмылок, будто я невесть какую работу выпол-
нил. Но руки я всё же помыл, раз уж так полага-
лось.

— Чем же мы будем потчевать гостя? — не то
спросила, не то подумала вслух мать, и Лида жа-
лостно отозвалась, глядя при этом с затаённой
надеждой на неё:

— Придумаем что-нибудь.

— Да вы не хлопчите. Какой я гость? И сыт
я. Нас хорошо кормят — на убой. Вон Лида знает.

— Мало ли как вас там кормят, и мало ли
чего Лида знает, — заявила мать и подала Лиде
жестяной бидончик:

— Мигом слетай на рынок за молоком. Мы

сварим мамалыгу. Вы когда-нибудь ели мамалыгу? — обратилась она ко мне.

— А что это такое?

— Ну вот, вы даже не знаете, что такое мамалыга, — усмешливо проговорила она и, когда Лида выпорхнула за дверь, пояснила: — Мамалыга — это почти каша, только из кукурузы. Понятно?

— Понятно.

Мать прошла по комнате, без надобности поправила занавеску и остановилась против меня. Я почувствовал — она хочет что-то сказать, и сказать неприятное для меня. Я отвёл глаза в сторону и насторожился. И вдруг мать дотронулась до моих волос, погладила их почти так же, как Лида:

— Вам сколько лет, Миша?

— Девятнадцать.

— Хороший возраст, — вздохнула мать и села рядом со мной на диван. — Хороший возраст, — повторила она. — Вам бы сейчас по клубам, по вечёркам, петь, танцевать...

— У нас танцевать не умеют, у нас пляшут, — мрачно прервал я её. Тем самым я давал понять, что все эти объезды ни к чему и что со мной надо говорить прямо. Она долго заламывала пальцы, щёлкала ими и, наконец, глухо спросила:

— Михаил, у вас ничего такого с Лидой?..

— Нет!

— Вы не сердитесь. Я — мать. И дочь — это всё, что есть у меня. Муж нас оставил, бросил. Он доктор. Сошёл с какой-то в госпитале. И вы понимаете... Словом, Михаил, будьте умницей, поберегите Лиду. Душа у неё очень уж открытая, мягкая, и я боюсь, что наставят там отпечатки пальцев...

— Зачем вы так?

— Ах, Михаил, Михаил, — сжала она ладонями седые виски. — Не так всё это надо было вам сказать. Но раз уж сказалось грубо, прямо, слушайте дальше. Вы уже взрослый, вам уже девятнадцать. Видели же и пережили вы за эти девятнадцать столько, что иному за девяносто не увидеть. — Она на секунду смолкла, снова защёлкала пальцами. Из пяти пальцев на этот раз щёлкнул только один. — Не ко времени всё это у вас, Михаил! Ещё неделя, ну месяц, а потом что? Потом-то что? Разлука, слёзы, горе!.. Предположим, любви без этого не бывает. Но ведь и горе горю рознь. Допустим, вы сохранитесь. Допустим, вас изувечат ещё раз, и несильно изувечат, и вы вернётесь. И что? Какое у вас образование?

— Семь.

— А специальность?

— Я уже настолько покалечен, что не смогу работать по специальности.

— Вот видите, вот видите, — подхватила она. — А Лидке тоже ещё нужно институт кончать. В общем, Михаил, будьте взрослым. Сделайте так, чтобы ваши отношения не зашли далеко. Понимаете, там, в институте, есть человек... Ну, вы меня понимаете.

— Да. Почти что, — мрачно буркнул я. — Но насчёт человека вы неправду сказали. Нет его. — Я резко поднялся и стал надевать бушлат. — Однако уж одно то, что вы придумали насчёт человека, всё измерили, взвесили...

Диван затинькал пружинами. Мать подошла ко мне и молча отняла бушлат. В уголках её глаз, у самых морщинок, поблёскивали слёзы:

— Не уходите. Вы сделаете ей больно. А боли и горя и так через край. — Мать неуверенно про-

тянула руку, нежно погладила меня по плечу, и я от этого чуть было не заревел.

— Дети вы мои, дети! — тоскливо сказала мать и опустила руки. — О нашем разговоре, сами понимаете, Лида не должна знать. Да и вы можете его забыть, если это вам необходимо. Это ведь только слова, слова матери, у которой ум и сердце иной раз тоже не согласуются. Простите меня, бога ради, и забудьте, если хотите, мои слова...

Но я уже знал, что этого разговора мне никогда не забыть. Не так я устроен, чтобы забывать такое. Что-то перевернулось во мне, что-то непонятное содеялось. До этого я воспринимал наши отношения с Лидой как свет, как воздух, как утро, как день. Незаметно, само собой это входило, заняло своё место в душе, жило там и не требовало вроде бы никакого отчёта. Было, и всё. А что, зачем, почему — это как будто и не касалось нас.

Выходило так, что ничего в жизни просто не даётся. Даже это, которое ещё только-только появилось и которому ещё не было названия, уже требовало сил, ответственности, раздумий и мук.

Мы гуляли по Краснодару, по улице Красной, по Чкалова и ещё по каким-то. У меня не шёл из головы разговор с Лидиной матерью. И ещё мне страшно жало ноги, до того жало, что по самые коленки горели они. Я терпел и даже шутил, и смеялся, но, видимо, иной раз не совсем ладно смеялся, говорил невпопад, и Лида удивлённо спрашивала:

— Ты чего?

Я отделивался какой-нибудь шуткой.

Ночь была ясная и звёздная. В городе светились, да и то тускло, только некоторые окна, но и они гасли одно за другим. Город, разбитый в центре, с кое-как прибранными и подметёнными улицами, утомлённо затихал. Вскоре он и вовсе погрузился в темноту. На небе, подсвеченном невидимой из-за деревьев луной, маячили, как сказочные утёсы, скелеты самых высоких домов.

Ямки возле тротуаров и на тротуарах были наспех засыпаны обломками кирпичей, мусором. В этом городе много деревьев, кое-где они почти смыкали вершины, и это маскировало раны и разрушения, сделанные войной. Я держал Лиду под руку и говорил:

— Осторожно, воронка!

— Осторожно, воронка, — предупреждала и она.

Поздно ночью мы остановились на улице Пушкина, возле дома с флюгером. Флюгера не было видно из-за потемневшего тополя. Он только время от времени напоминал о себе железным ленивым скрипом. И тогда голые ветви тополя начинали чуть слышно пошевеливаться, пощёлкивать друг о друга, и сверху на нас падали звонкие ледышки, разбиваясь в блескучие звёздочки у ног. Я перекачивал эти то вспыхивающие, то гаснущие звёздочки сапогом и угнетённо помалкивал, понимая, что так вот, без ничего мне уходить нельзя, что полагается делать всякие нежные вещи, раз я на свидании.

— Ты бы хоть поцеловал меня, медвежатник, — наконец сказала Лида и опустила голову.

Я как будто только этого и ждал. С торопливым отчаянием я обнял Лиду и ткнулся губами во что-то мягкое и не сразу понял, что поцеловал лису.

— Ах ты, медвежатник, медвежатник, — прошептала Лида, — тебе только бы со зверьми якшаться.

Я обиделся и попытался выдернуть руку. Но Лида приблизила своё лицо к моему и вытянула губы, как это делают ребятишки, изготовившись к поцелую. Я припал к ним плотно стиснутыми губами и так вот держал их, не дыша, до тех пор, пока без дыхания уж стало невозможно.

Я отнял губы, протяжно вздохнул. Мы снова молчали, отвернувшись друг от друга.

— Гляди, Миша, сколько звёзд сегодня! — мягко произнесла Лида, и я поглядел на небо. Звёзд и в самом деле сегодня было очень много. Ближе других ровно светились солидные, спелые звёзды, а за ними мерцали, перемигивались, застенчиво прятались одна за другую звёзды, звёздочки, звёздушки. И не было им конца и края, невозможно было их перечесть — эти бессонные, добрые звёзды.

— Может, и наша звёздочка там есть, Миша?

— Может, и есть. А если нет, то давай загадаем во-он ту, рядом с ковшиком.

И мы снова поцеловались, теперь уже за звезду, и на этот раз не отвернулись один от другого.

— Миша, ты когда-нибудь целовался... ну... с девушкой?

— Нет, не целовался. Некогда было.

— И я тоже не целовалась.

Я с недоверием посмотрел на неё. Она торопливо заговорила:

— Тот лейтенант — Коля, меня провожал два раза, но не целовал. Да я бы и не позволила ему...

— Ты, может, думаешь, ревную? — почти беспечно заявил я и даже попытался хохотнуть для подкрепления беспечности, но смех получился та-

кой, будто у меня подшипники в горле расплавились, и я рассердился: — Была нужда ревновать!

— Не смей так говорить со мной! — сказала Лида, и от обиды у неё дрогнул голос.

— Ладно уж, не буду, а то затюнишь... — поддразнил я её, и она схватила меня за чуб, и всё дело кончилось тем, что мы ещё раз поцеловались.

...Я шёл по пустынным, гулким улицам города и не замечал воронок. Я забыл, что говорила мне Лидина мать, и даже о том, что ноги у меня одеревенели. Я напевал строевую песню, любимую песню нашего полка:

С нашим знаменем,
С нашим знаменем,
До конца мы врага разобьём!
За родные края, края советские
Мы в поход, друзья-товарищи, идём!..

Напевал и пытался рубить строевым шагом, и плевать мне было на всё на свете. Во мне бурлило столько радости, что я готов был обнять первого же встречного и поцеловать или схватить просто так, тряхнуть его. Но увы, первые встречные оказались не те, которых надо целовать.

В одном из особенно тёмных переулков меня перехватили мазурики, чтобы раздеть. Добра этого тогда в Краснодаре было хоть пруд пруди. Я сказал раздевателям, что из госпиталя (а это было как особый пропуск), обматерил их на прощанье, потопал дальше и снова запел.

Налётчики свистнули мне вслед и захохотали:
— Хватил вояка микстурки!

Я провожал Рюрика на вокзал. Он шагал рядом, опираясь на тополиный сук и почему-то сердито говорил, что всё равно будет тренироваться

и ещё станет играть в футбол. Бравый народ, эти саратовские. Послушать Рюрика, так у них там сплошные футболисты и гармонисты. И частушки у них озороватые, лихие.

Рюрик всю дорогу бубнил мне:

— Комиссуют если по чистой, приезжай ко мне без никаких. Всё-таки халупа, отец, мать живые. И город у нас, знаешь какой, Саратов-то, о-о-о!

— Знаю. Ты — Саратов, город славный, и так далее...

— Я те дело говорю, а ты...

— Ладно, Урюк, видно будет, что и как. Давай обнимемся, что ли.

— Давай, — говорит Рюрик, и пробитая щека его начинает подёргиваться. Он притискивает меня к себе и давит концом палки в мой позвоночник. А я держу за удавку вещмешок, и так мы стоим некоторое время, будто собираемся побороть друг друга.

В одном поезде с Рюриком уезжал тот лейтенант — Николай. Он в серой, ладно сидящей на нём шинели. Значит, кожан брал напрокат у кого-то, и я зря переживал. И усики лейтенант сбрил. Теперь они ему ни к чему, усики-то. Он на передовую едет, а там завлекать некого. Если и есть одна-две девчонки в части, так они уже давно завлечённые.

Мы и с лейтенантом обнимаемся. Он хлопает меня по плечу и говорит весело, сверкая серебряным зубом:

— Ну, ты, ревнивый мавр, следи тут за порядком в городе.

Я знаю, кто такой мавр, и мне не очень-то нравится, что меня к нему приравнивают, но я отвечаю дружески:

— Можешь быть уверен, лейтенант, порядок в этом городе обеспечу, а ты там бродягу-фюрера скорее дожимай...

Вскоре подошла и моя очередь покидать госпиталь. Меня признали годным к нестроевой службе. Предстояло ещё раз мотаться по пересылкам и резервным полкам. Мотаться, как всегда, бес толково и долго, пока угодишь в какую-нибудь часть и определишься к месту.

Лида осунулась, мало разговаривала со мной, а только глядела испуганно и тоскливо.

Вот и последняя ночь настала. Завтра с утра я уже начну собираться на пересыльный пункт. Эту ночь мы решили не спать и сидели возле круглой чугунной печки в палате выздоравливающих. И о чём только мы не говорили в эту ночь! Мы словно торопились высказать и сообщить друг другу всё, чего ещё не успели.

В печке чадно горел каменный уголь, и чуть светилась одинокая электролампа под потолком. Электростанцию уже восстановили, но энергию строго берегли и потому выключали на ночь всё, что можно выключить.

Лида гладила мою руку. А она, эта рука, уже чувствовала боль. Лида наказывала:

— Береги руку. Чудом она спаслась. Отнять хотели. Видно, силы у тебя много.

— Не в том дело. Просто мне без руки нельзя, кормить некому.

С кровати поднялся боец, сходил куда надо и подошёл к печке, прикуривать.

— Сидим? — хриплым со сна голосом полюбопытствовал он.

— Сидим, — буркнул я.

— Ну и правильно делаете, — добродушно зевнул он и поцарапал под мышкой. — Мешаю?

— Чего нам мешать-то?

— Тогда посижу я маленько с вами. Погреюсь.

— Грейся, — разрешил я, но таким голосом, что боец быстренько докурил папиросу, помялся для приличия и ушёл на свою кровать со словами: — Эх, молодёжь, молодёжь. У меня вот тоже скоро дочка заневестится.

Близился рассвет. В палате нависла мгла и слилась с серыми одеялами, белеющими подушками. Было тихо-тихо.

— Миша!

— А?

— Ты чего замолчал?

— Да так что-то. О чём ещё говорить?

— Разве не о чем? Разве ты не хочешь мне ещё что-нибудь сказать?

Я знал, что мне нужно было сказать, давно знал, но как решиться, как произнести это? Нет, вовсе я не сильный, совсем не сильный, размазня я, слабак.

— Ну, хорошо, — вздохнула Лида. — Раз говорить не о чем, займусь историями болезни, а то я запустила тут свои дела.

— Займись, коли надо.

Я злюсь на себя, а Лида, видимо, подумала, что на неё, и обиженно вздёрнула нравную губу. Она это умеет. Характер! Я притянул её к себе, взял и чмокнул в эту самую вздёрнутую губу. Она стукнула меня легонько кулаком в грудь:

— У-у, вредный!

В ответ на это я опять поцеловал её в ту же

губу, и тогда Лида припала к моему уху и украдкою выдохнула:

— Их либе зих!

Я плохо учился по немецкому языку и без шпаргалок не отвечал, но, что значит слово «либе», всё-таки знал и растерялся.

— Чего? — переспросил я.

Лида встала передо мной и отчеканила:

— Их либе зих! Балбес ты этакий!

Она повернулась и убежала из палаты.

Я долго разыскивал её в сонном госпитале и нашёл в раздевалке. Она сидела на подоконнике, уткнувшись в косяк. Я стащил её с подоконника и с запоздалой покаянностью твердил:

— Я тоже либе. Я тоже их либе... ещё тогда... Когда ты у лампы...:

Она зарылась мокрым носом в мою рубашку и всё ещё всхлипывала:

— Так что же ты молчал столько месяцев?

Я утёр ей ладонью щёки, нос, и она показалась мне маленькой-маленькой, и мне захотелось взять её на руки, но я не взял её, а лишь сказал:

— Страшно было. Слово-то какое! Его, небось, и назначено человеку только раз в жизни произносить.

— У-у, вредный! — снова ткнула она меня кулачишком в грудь. — И откуда ты взялся такой на мою голову? — Она потёрлась щекой о мою щёку, затем быстро посмотрела мне в лицо, провела ладошкой по щеке и с удивлённой радостью засмеялась: — Ми-ишка! У тебя борода начинает расти!

— Иди ты, — не поверил я и пощупал сам себя за подбородок: и правда, что-то пробивается.

— Мишка-Михей — бородатый дед! — как

считалку, затвердила Лида и спохватилась: — Ой, спят ведь все. Иди сюда!

Теперь мы уже оба уселись на подоконник и так, за несколькими халатами, пальто и телогрейками пробыли в этом, с нашей точки зрения, таинственном уединении до утра.

Перед самым подъёмом Лида как бы проснулась:

— Неужели и всё? Неужели сегодня ты уйдёшь? Ведь только вот сказали друг другу, и уже всё! Миша, что же ты молчишь? Что ты всё молчишь!

— Не надо плакать, сестрёнка моя.

Лида вдруг встрепенулась и поглядела на меня потрясёнными глазами:

— Миша, не откажи мне! Дай слово, что не откажешь!

— Я всё готов... для... тебя...

— Я поставлю тебе температуру... ну, поднялась, ну, неожиданно, ну, бывает...

— Ты с ума сошла!

— Я знаю. Я знаю — это нехорошо, нельзя. За это меня могут с работы уволить. Но я хочу, так хочу побыть ещё с тобой, вместе, хоть день, хоть два...

— Лидка, опомнись! Что ты буровишь? — успокаивал я её, и мне было страшно и в то же время радостно. Я и не знал, что она меня так любит! И за что только, за что? Я ничем не заслужил такой большой любви. Я простой парень, простой солдат. Боже ж ты мой, Мишка, держись! Раз любишь — держись и не соглашайся. Ты сильный, ты — мужик, не соглашайся. Нельзя такую девушку позорить, ей и без того больно.

И я выдержал, не согласился. Я, вероятно, ограбил нашу любовь, но иначе было нельзя. Я сты-

дился бы рассказывать о своей любви. Я презирал бы себя всю жизнь, если бы оказался слабей Лиды. Я, наверное, в самом деле был тогда сильным парнем.

Пересыльный пункт размещался в бывших складах «Заготзерно». Там уцелели полати для просушки зерна и не надо было делать нар, вот и приспособили «Заготзерно» под временное жильё, под перевалочную базу для людей. По старой привычке на склады залетали присмирившие от недоедов воробьи. Солдаты щепками и складными ножиками выковыривали зёрна из щелей, обдували с них пыль и жевали, круто двигая челюстями. Щепотку-другую уделяли воробьям. Птички быстро и без драки склёвывали зёрна и ждали еще.

Мы были круглые сутки предоставлены сами себе и ждали «покупателя». «Покупатели» — это представители нестроевых частей. Они высматривали нас во дворе, устланном растрескавшимися булыжниками, и выбирали тех, кто годился ещё в охранники, в строители, и уводили с собой.

Здесь происходили частые встречи однополчан, знакомых по госпитальным палатам, и так же часто повторялись неизбежные разлуки.

Я отвоевал себе угол в дальнем конце склада и сидел там сутками, с обнятыми коленями. На меня напало тупое безразличие. На смотр «покупателей» я не выходил, в торговые сделки, которые совершались между солдатами, не ввязывался, увольнительную не просил. Да и бесполезно было её просить. Слишком много оказывалось желающих хоть на часок-два вырваться за ворота

пересылки, загнать на базаре бельишко и купить семечек, еды или самогона.

Времени у меня теперь было вполне достаточно для того; чтобы ещё раз и подробно вспомнить тот разговор с Лидиной матерью. Вот он я, весь нестройной, и ничего, ничего не могу изменить. Была радость, большая, оглушающая. Не хотелось ни о чём думать, и война вроде бы забылась, всё, всё забылось. И вот на тебе! Смотри, думай, оглядывайся, раз выбрел из тумана, который отгородил тебя от всего света.

Однажды я вылез из своего угла, сходил в медпропускник и попросил, чтобы мне остригли волосы. Солдат, повязанный вместо фартука рюкзаком, быстро содрал тупой машинкой мой чуб, и голове сделалось легче. Я посмотрел на свои тёмные волосы, смешавшиеся на полу с рыжими, белыми, седыми.

И ушёл. На что они мне теперь, волосы? Зачем попу гармонь, когда у него есть кадило!

Угол мой тем временем заняли. Я вежливо попросил освободить его. Белобрысый солдат было заартачился, но глянул на меня и быстро отодвинулся в сторону со своими вещешками. Если бы он ещё немного поогрызался, я бы избил его как собаку.

Неподалёку от меня сидел в окружении хохочущего народа старший сержант и рассказывал на украинском языке анекдоты. Знал он их чёртову прорву. И вообще парень был из тех, что и в аду приспособятся жить. Солдатня с любовью смотрела в рот рассказчику и взвизгивала, корчилась, утирала слёзы рукавами. Я тоже стал слушать и даже немного забылся.

«Как бы мы жили, как бы мы переносили горести, беды и утраты, если бы не было у нас та-

ких вот парней, как этот старшой?» — думал я и неожиданно услышал:

— Рохвеев е?

Это кричал постовой, дежуривший у ворот.

— Рохвеев е? — повторил оң.

— Кто-кто? — переспросили у него сразу несколько солдат.

— Да Рохвеев, говорю, там к нему прийшлы.

Я почувствовал, как похолодело темя на стриженной голове, но подпрыгнул и чуть не свалился с нар:

— Может, Ерофеев?

— Осе, осе! — подтвердил солдат и пошёл со склада, осудительно глядя на валяющуюся по нарам публику, которая не выказывала никакого рвения к службе. А так, вот, валялась, курила, трепалась и довольно терпеливо ждала подходящего «покупателя».

Я шёл и чувствовал, как тяжелеют мои ноги, как наливается ёжистым страхом всё внутри и как сразу замёрзла раненая рука, снова подвешенная на бинт, потому что вчера открылся на ране свищ. Я снял бинт, скомкал и сунул его в карман, застегнул и одёрнул гимнастёрку.

Возле ворот, притулившись к кирпичной стене, озеленелой снизу, на траве, каким-то чудом проросшей в камешнике, стояла Лида. Она была всё в той самой жёлтенькой беретке, всё с той же жёлтенькой лисой, всё такая же большеглазая, хрупкая с виду девчонка. Она рванулась ко мне навстречу, и я рванулся было к ней, но вдруг увидел себя чьими-то чужими, беспощадными глазами, в латаных штанах, в огромных, расшлёпанных ботинках, в обмотках, в ветхой гимнастёрке, безволосого, худого.

Я остановился, и когда Лида подошла и не подала мне руки, а лишь испуганно глядела на меня, спросил сквозь зубы:

— Зачем ты пришла?

Она чуть попятилась, оступилась на булыжнике, залитом рыженькой грязью. Я поймал её за локоть.

— Зачем ты сюда пришла?

Она не знала, что сказать, и только глядела на меня с ужасом и состраданием. И это вот сострадание, которого я никогда не видел в её глазах, даже там, в послеоперационной палате, скончательно взбесило меня, и не знаю, что я сделал бы ещё, но Лида вдруг выхватила из рукава конверт.

— Я... вот... письмо тебе принесла.

— Какое письмо?

— От Рюрика. Я думала, тебе интересно... оно три дня назад пришло... Я думала, зачем его обратно отсылать...

Она ещё лепетала что-то, и я видел, как наполнились слезами её глаза.

— Ничего шарочка, — слышался чей-то голос сзади меня. Я обернулся. По двору шлялись и глазели два расхлябанных, плохо одетых солдата.

Я придвинулся к Лиде, попытался загорить её.

— Да, фигурочка! Конфета!

— И везёт же человеку! Гляди, сам — доходяга доходягой, а такую девку урвал.

— По нынешним временам не это главное. Главное, чтоб мужским пахло.

Я затравленно озирался по сторонам, а Лида презрительно сощурилась, как тогда, в госпитале, когда я сказал ей про лейтенанта.

Я знал, чем всё это может кончиться. Я уже целился глазом на железную ось от телеги, стоящую в углу, возле ворот. Но тут вмешался постовой. Он заорал на тех двух хамовитых солдат:

— Шо вы к человеку привязались, га? Ну, шо? Мабуть, у людей горе, а вы? Гэть все до помещенья! — И солдаты начали неохотно расходиться. Те двое тоже пошли вразвалку. — И шо тики безделье з человеком не зробить? — как бы оправдывался охранник, доверительно глядя на Лиду, а потом подумал и добавил уже строго официально: — Дозволяю выдти за ворота на скамейку.

Я сидел на скамейке возле ворот пересылки, оглушённо уставившись себе под ноги. Лида трясла меня за рукав.

— Миша, что с тобой? Ми-иша! — Она подняла руку ко рту, закусил палец и опять принялась трясти меня. — Миша, скажи же что-нибудь! Родненький, скажи!

Но я не мог говорить. Я держался из последних сил. Я чувствовал, что если скажу хоть слово, то сейчас же разрыдаюсь и стану жаловаться на пересылку, скажу, что мне плохо без неё, без Лиды, и что рана у меня открывается, и что не таким бы мне хотелось быть перед любимой, какой я сейчас. Мне хотелось бы быть тем красивым, удалим молодцом, о котором я всё время рассказывал ей в своих сказках. И если бы я в самом деле сделался им, этим сказочным повелителем, я бы велел всем, всем людям в моём царстве выдавать красивую одежду, особенно молодым, особенно тем, кто её никогда не носил и впервые любит. Я сделал бы всё для того, чтобы они выглядели красивыми.

Но я солдат, нестроевой солдат, остриженный,

как и все солдаты, наголо, и сказки нет больше, сказка кончилась. Не время сейчас для сказок.

— Лида, тебе лучше уйти, — сказал я и поднялся со скамьи. — Привет матери передавай. Ну, иди.

— Хорошо, хорошо, Миша, я уйду. Я сейчас уйду. Я ведь только письмо...

— Уходи, Лида!

Мы стояли посреди тротуара, и люди обходили нас, толкали. Лида что-то говорила или губы у неё дрожали. Невозможно было понять. Я наклонился к ней поближе, и до меня донеслось:

— Миша, я боюсь за тебя! Миша, я боюсь одного тебя оставлять. У тебя в глазах что-то. Может, у тебя болит что-нибудь?

— Прощу тебя, Лида, иди, — закусил я губу. — Иди, ничего со мной не станется. Я ведь медвежатник, — попытался пощутить я. Но шутки не получилось, голос у меня засекся, и я легонько повернул её от себя: — Прощу тебя...

Она послушно пошла, по-старушечьи ссутулившись. Я почувствовал, что она вот-вот обернётся, и бросил её вслед:

— Пожалуйста, не оглядывайся.

Она шла медленно и услышала эти слова, тряхнула головой, согласилась... и всё-таки оглянулась. Своими яркими глазищами, в которых стояла мука, она позвала меня.

— Да уходи же ты! — заорал я, оттолкнул постового и вбежал во двор.

Я залез на нары, наглухо укрылся шинелью и плакал молчком до тех пор, пока были слёзы. Потом я лежал просто так, обессиленный слеза-

ми, и впервые в жизни узнал, как может болеть у человека сердце. Кто-то осторожно потянул с меня шинель.

— Курни, солдат. — Из темноты ко мне протянули светящийся окурок. Я залпом докурил папиросу.

— Убили кого-нибудь? — спросил меня из темноты тот, что давал докурить.

— Убили...

— Когда только и конец этому будет? — вздохнул всё тот же солдат. — Спи давай, парень, если можешь...

Я снова завернулся в шинель, угрелся и где-то уж под утро заснул. Днём я вышел в строй и с первым попавшимся «покупателем» уехал на Украину. Оттуда было близко добираться до фронта и отыскивать свою часть. В нестроевой части я, конечно, и не помышлял остаться.

Ну вот и точка. Больше я никогда не видел Лиду наяву и больше мне нечего рассказать о своей любви. В книгах часто случаются нечаянные встречи, а у меня и этого не было.

Закружила меня война, бросала из полка в полк, из госпиталя в госпиталь, с пересылки на пересылку. Постепенно присохла боль в душе, рассеялось и чувство давленности, одиночества, всё входило в свои берега. В военной сутолоке и любовь-то моя вроде бы притухла, истлела, казалось, истлела вовсе, навсегда. Но вот годы прошли. Многие годы. И война-то вспоминается, как далёкий затяжной сон, в котором действует незнакомый и в то же время до боли близкий мне парнишка, и всё думаю, а может, встречу? Случается же, случается! И знаю ведь, ничего уже не воротишь, не вернёшь, и всё равно думаю,

жду, надеюсь, и любовь моя всё горит, всё светится.

Я очень люблю свою Родину — Россию, но иногда сожалею, что она такая громадная. Трудно в ней случайно встретиться. И ещё я очень люблю смотреть на небо, когда в нём зреют звёзды. И сердцу моему больно, если падает какая-нибудь спелая звезда.

Бывают такие яркие ночи, когда в небе хлещет сплошной звездопад. Звёзды вспыхивают, кроят, высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, они гаснут. Но пусть хоть все учёные мира говорят, что они гаснут, я всё равно не поверю этому.

Я думаю, что каждая звезда — это чья-то однажды вспыхнувшая и никогда не гаснущая любовь, которая летит из неведомых далей и потом рассыпается на множество вот этих неоглядных звёзд. Трепещут они и горят неугасимо в недостижимой, всегда загадочной вечности.

Я не верю, что звёзды отцветают и гаснут. Не верю!

Виктор Петрович Астафьев

РАССКАЗ О ЛЮБВИ

Редактор *С. М. Гинц*
Художник *В. С. Измайлов*
Худож. редактор *М. В. Тарасова*
Техн. редактор *К. Г. Сукманова*
Корректор *И. Л. Пархомовская*



Подписано к печати 19|IV-61 г.
Бумага 84×108^{1/2} 0,9375 б. л.
1,75 п. л. Уч.-изд. 2,4 л.
ЛБ00030. Тираж 50 000 экз.
Цена 7 к.



2-я книжная типография
облполиграфиздата.
Пермь, ул. Коммунистическая, 57. Зак. 381.

**КНИГИ ПЕРМСКОГО КНИЖНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
СЕРИЯ «РАССКАЗЫ О СОВЕТСКИХ ЛЮДЯХ»**

Вышли из печати:

- В. Астафьев.** Сибиряк. 26 стр., 3 коп.
Н. Вагнер. Васёк. 16 стр., 4 коп.
О. Маркова. Жена. 22 стр., 3 коп.
О. Маркова. Шест у двора. 39 стр., 5 коп.
М. Моценок. Мать-бригадирша. 16 стр., 4 коп.
Л. Поляков. Синее безмолвие. 21 стр., 5 коп.
Л. Правдин. Мы строим дом. 62 стр., 8 коп.
Л. Правдин. На восходе солнца. 35 стр., 6 коп.
А. Ромашов. Невеста. 20 стр., 3 коп.
О. Селянкин. Злыдень. 37 стр., 5 коп.
О. Селянкин. Маяк победы. 24 стр., 4 коп.
А. Черкасов. Пламя свечи. 19 стр., 4 коп.
В. Черненко. Тучи и небо. 17 стр., 3 коп.
В. Черненко. Характер курносой девчонки. 14 стр.,
2 коп.
А. Шибанов. Первый пациент. 18 стр., 4 коп.

Выходят из печати:

- В. Волосков.** Сыч.
З. Ерошкина. В семье.
О. Маркова. Самые обыкновенные.
Л. Молчанова. Белый аист.

7 коп.

Пермское

КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1 9 6 1